

В этот момент что-то щёлкнуло. Бармен с ужасом едва не уронил бутылку. Последний коктейль был выпит.

Всё замерло. – И что теперь? – тихо спросила Гарбо. Д'Арси медленно поднялся. Оглядел собравшихся. И встал.

Против всех ожиданий – он не упал, не покачнулся, даже не моргнул. – Теперь, – сказал он, одним движением поджигая свою Cohiba и закручивая сюжет реальности в спираль, – я отправляюсь на перрон.

Поезд уже тронулся, господа пристяжные завсегдаитаи!

Где-то вдалеке свистнул Восточный экспресс, но, возможно, это был не свист, а шёпот Медузы, замершей в мраморных Цистернах.

А может, просто тот самый ёжик продолжал свой путь в тумане – упрямый, безразличный к судьбе, ведомый одной ему известной дорогой.

Только теперь туман рассеивался, и впереди впервые показались рельсы.

Пиаф

Париж, декабрь 1960-го. Холод уныло, но упорно грыз мостовые, зато в «Олимпии» – духота, дым, потные ладони аплодисментов. Ожидание. Слишком много ожидания для одного вечера. Зал набит. Политики, их жёны, их любовницы. Художники в поисках вдохновения. Модники, зевающие от вчерашнего кокаина. Всем им кажется, что они пришли посмотреть концерт. Наивные.

Я стоял за кулисами, попыхивая сигарой. Третьей за вечер? Четвёртой? Впрочем...

Пиаф. Маленькая женщина с огромной пустотой внутри. Тело – хрупкое, почти детское. Лицо – географическая карта боли. Но глаза – о, эти глаза пылали. Как и двадцать лет назад, когда я случайно забрёл в тот кабак на Монмартре. Хотя нет, тогда она ещё не была такой... высохшей. Выжженной.

«Вы не понимаете, что это за песня», — огрызнулась она на Дюмона. Тот всё мямлил про свои сомнения. Я подслушал их случайно. Хотя, возможно, и нарочно. «Это не мелодия, это мой суд над собой, где я – и палач, и помилованная».

Когда она вышла на сцену, зал заткнулся. Так затихают, когда видят обнажённый нерв. Тишина. Странная, плотная. А потом – «Non, rien de rien, non, je ne regrette rien...»

Это не пение. Это... А, к чёрту определение! Женщина, которую жизнь использовала, как половую тряпку, стояла там и дерзко заявляла, что ни о чём не жалеет.

Вы видели когда-нибудь алжирского дипломата в замешательстве? Я – да. Третий ряд, крайнее место. Его лицо – гранит, внезапно треснувший. Позже он пробормотал что-то про смелость. Банально. Но искренне.

Легионеры... Потом легионеры сделали эту песню своим гимном. Логично. У них тоже не было пути назад.

А вот и немец. Рядом со мной. Нарочито-аккуратный, с глазами мёртвой шуки. Из тех, что сортируют даже свои сны по алфавиту.

«До чего докатились», – цедит он пастору с лицом печёного яблока. «Какие ужасные песни нынче в моде».

Я обычно не встречаю. Не моё дело. Но тут...

«Вы ошибаетесь, мой друг. Эта певица переживёт века, а вас, боюсь, забудут ещё до того, как высохнут чернила в вашем некрологе».

Немец посмотрел на меня, как на таракана в супе. Испарился. И тут я заметил – круглолицый парень, дешёвый костюм, блокнот. Строчит, как пишущая машинка. Каждое моё слово – в строчку. Странно.

Я кивнул маркизу де Л. Вопрос без слов.

«Ляндрес», – шепнул тот в бокал. «Советский журналист. Собирает объёдки с нашего стола – для своей серой прессы».

Забавно. Мои слова о некрологах – в заголовок «Правды»? «Буржуазный цинизм как последняя стадия капитализма». Что-то в этом роде.

Спустя годы я наткнулся на роман Семёнова – тот самый Ляндрес, оказывается. «Семнадцать мгновений весны». И там его Штирлиц говорит – слово в слово – мою фразу про певицу, века и некролог.

Вот так. Моё случайное раздражение стало частью советского шпионского мифа. Слова живут своей жизнью, когда вылетают изо рта.

Дюмон и Вокер... Да, Дюмон и Вокер. Они думали, что написали шансон. Наивные. Они создали манифест. А Пиаф вдохнула в него жизнь — свою собственную, растраченную по кабакам и постелям. «Я сметаю прошлое рукой...»

И ведь веришь ей, чёрт возьми! Этот голос не имитировать. Эту дрожь не подделать.

Я стоял в тени, вдыхая дым и духи. Думал – вот оно, настоящее. Не ноты, не слова. Акт создания себя из ничего. Она не пела – она рождалась заново. Из пепла.

«С сегодняшнего дня я начинаю новую жизнь...»

Не обещание. Факт.

Занавес упал, аплодисменты. Все эти люди хлопали, не понимая, что это им аплодировали.

Я вышел. Закурил ещё одну. Утомительно быть свидетелем чужого величия.

Теперь эту песню крутят в магазинах. В рекламе духов. В романтических комедиях, где герои не знают, что такое боль. Иногда я слышу её в такси. Водители подпевают, не понимая ни слова. Но я был там. Я видел это чудо – воробышек (да, ведь «Piaf» так и переводится, забавно) – смотрел прямо в глаза судьбе и говорил: «Отвали. Ты мне ничего не сделаешь».

Если через сто лет кто-то услышит в этих нотах хоть отголосок того вечера — значит, она победила время. Бессмертие – это не когда о тебе помнят. Это когда твой голос продолжает говорить с ещё не родившимися.

Граф Гастон Д'Арси, Париж, декабрь 1960, где-то между дымом и отчаянием. Или надеждой? Впрочем, какая разница.